

ВОКАРИ ЛИ

бой

без

с самим

ВОЗМОЖНОСТИ

собой

победить



-OSIS

RED. Современная литература

Вокари Ли
–OSIS

«ЭКСМО»

2022

Ли В.

–OSIS / В. Ли — «Эксмо», 2022 — (RED. Современная литература)

ISBN 978-5-04-171566-3

"-OSIS" — душа, вывернутая наизнанку, в которой каждый узнает себя. Цельная реальность, единая для каждого из героев, обретает для каждого из них особую форму, искажаясь уязвимостью психики. Их сознание образует из привычных образов череду сменяющих друг друга циклов, где никто никому не приходится даже отдалённым знакомым. Герои борются со внутренними демонами, но каждый раз возвращаются к витку тянущей на дно петли. Непохожие друг на друга люди объединяются сражением за свободу мысли и творчества, но как сложится их судьба, если в один из дней им придётся обнаружить врага внутри себя? Комментарий Редакции: Экзистенциальный сборник с непривычным названием откроет свою суть только тем, кто действительно умеет видеть незримое, чувствовать невозможное и слышать самые тонкие материи. Как знать, может быть, вы — один из них?

ISBN 978-5-04-171566-3

© Ли В., 2022

© Эксмо, 2022

Содержание

Девочка, которая рано умерла	5
Весёлый клоун	7
Смирение и гордость	9
Писатель	11
Икона	13
Глазами незрячего	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Вокари Ли –OSIS

Девочка, которая рано умерла

Ютящийся в углу коридора кабинет математики по праву считался самым неприятным местом в школе. Дети старались как можно дольше избегать его общества: переминались у дверей, стараясь не заглядывать внутрь, набивались в тесные кабинки туалетов и носились по коридорам, путаясь в ногах старшеклассников.

В кабинете не было ничего, помимо тухлого запаха, доносящегося от стен и пыльных шкафов. Выкрашенные в ядовито-зелёный стены сжимали воздух; от их кислотности сбегали даже парты, плотно прилипшие друг к другу ровными боками. Лишь изредка занозы цепляли нежность капроновых колгот. Старые книги за стеклянными стеллажами высывали рёбра, прикладываясь к учительскому столу. Их ветхие кости хрустели, соприкасаясь с силой грузных рук.

Учитель математики, женщина лет сорока, незаслуженно прозванная «старушкой», носила массивные очки, которые то и дело сползали с её носа. Она поправляла их подушечкой пальца, линии которого, казалось, навечно забились меловой крошкой.

Из-под выпуклых стёкол выглядывали мелкие глазки, они бегали в поисках будущего отвечающего и не вызывали у ребят ничего, кроме отторжения, приправленного едва проскальзывающим сочувствием.

Ещё большее отвращение вызывала «странная девочка», сидевшая за первой партой. Ребята негласно дали ей такое нелепое прозвище; ни у кого не было тому никаких объяснений: девочка просто была чудакой, носившей несуразные очки, окаймленные красным, и застиранный вязаный сарафан – его она, кажется, не снимала никогда. Пользуясь узорами её одежды, школьники могли изучать географию: белёсые подтеки удивительно напоминали оторвавшийся кусок Антарктиды. Даже учителя обращались к ней с долей безразличия, цедя фамилию сквозь скученные зубы, будто та прогорклой ириской могла прилипнуть к языку и нёбу. Некоторые всё же относились к ней с пониманием: вероятно, видели в заляпанных пальцах очках что-то родное.

Девочка выписывала в толстую голубую тетрадь все впечатлившие её события. Например, совсем недавно она выделила отдельную колонку для случайно завалившейся под стол маковой булки. Когда девочка обводила слова цветной ручкой, на лице её играла загадочная улыбка.

Своими хрупкими пальцами, чуть подрагивающими от мельчайшего напряжения, она фанатично вырисовывала буквы. Почерк непослушно прыгал от строчки к строчке, паста размазывалась запястьем, оставляя на нём и окружающих предметах синеватые полосчатые клаксы. Девочке казалось, что чернила беспрекословно её слушаются.

Колонка «о завалившейся булке» расположилась прямиком под главной заметкой недели: как-то вечером у её матери ужасно чесалось колено, из-за чего ночь оказалась неудобной и шумной. Девочка никак не могла заснуть и, разозлившись, коротко вписала черной пастой: «Проклятые комары». Рядом гордо расположился нарисованный простым карандашом комар. Ни его лица, ни мимики разглядеть было нельзя. Кривые лапки задевали текст, поэтому были беспощадно затёрты обрывком ластика. Чёрным девочка часто обозначала предчувствие смерти.

Несмотря на свои странности, она была добродушной и непонятливой, поэтому насмешки пропускала мимо ушей. Никто не слышал от неё ни единого грубого слова – это смирение производило множество слухов: сама того не ожидая, отвратительная девочка стала

центральной фигурой отвратительного класса. Она ловко владела сознанием своих напыщенных сверстников, не прилагая к этому никаких усилий. Девочку мало заботила окружающая обстановка – мир заключился в всё более надувающейся тетради. Такая беспечность вызывала в обозлившихся детях ещё большую ненависть.

Девочка никому не позволяла прикоснуться к тетради, которую бережно выкладывала на угол стола, раз за разом сводя её контуры с контурами парты. Когда голубое пятно наконец занимало отведённую ему часть, она поднимала руки и всем телом вытягивалась вперёд – ни один любопытный нос не мог перейти воссозданное ограждение. Пальцы цеплялись за края стола, пошатывая его из стороны в сторону. Это сопровождалось скрипом, потрескиванием поднявшегося на дыбы линолеума и щёлканьем перекатывающихся по парте ручек.

Даже презрительно смотревших одноклассников удивляла почти полная неподвижность лежащих на столе вещей. За всё время чудачеств «странной девочки» ничто и никогда не касалось пола без позволения. В её жестах читалась непокорная властность.

С каждым днём одноклассники всё больше злились: что-то внутри говорило им о надвигающейся катастрофе. Однако никто из них не предпринимал активных действий, ограничиваясь хихиканьем и пустотой слов, которые рассеивались уже в момент своего зарождения.

Им приходилось наблюдать за порабощением со стороны. С определённого момента, который был безответственно упущен, их власть над творением истории была безвозвратно утеряна.

С негласной диктатурой вынужденно смирились и учителя. В их снисходительном тоне появилась опасливость и беспокойство – девочка смотрела на сменяющихся один за другим людей с нечитаемым выражением лица. Постепенно все вовсе перестали её понимать: плоскость её существования – или многомерное пространство – выталкивала из себя сторонних наблюдателей. Самым смыслённым казалось, что она давно умерла: в детских глазах не плескалась жизнь. Казалось смыслённым, а живой не воспринимали все – дети учились у взрослых с первых шагов.

Так и родилась «странная девочка, которая рано умерла».

Стоило девочке лишь однажды ослабить оборону, упустить момент, заковыравшись в вылезших петлях своего сарафана, как длинные пальцы одноклассника с пугающе гладкими и большими ногтями выхватили тетрадь, полную маковых булок, коленей, комаров и едва проросшей моркови, стали бегать по ней в по-звериному быстром темпе, приказывая тонким губам зачитывать ломанные буквы вслух. Поток речи сотрясал стены смутившегося кабинета. Отражённый от них свет лампы перестал казаться тягостным – сквозь его застывшее хладнокровие проклюнулись поляны зацветающих вьюнков. Мальчик продолжал читать, ухмыляясь обнищавшим ртом, но голос его с каждой строкой замедлялся; буквы отрывались друг от друга с нарастающим рвением и затихали, впитываясь в отошедшие плитусные панели.

Он, схватившись за возможность изменить историю, забыл, что шанс давно повернулся спиной к каждому, кто находился в классе.

Так кого же он крепко держал за ноги?

Лица невольных слушателей исказила гримаса стыда и ужаса.

Побледневшим и затихнувшим ребятам на секунду показалось, что и сами они были плодом воображения «странной девочки» с первой парты.

Совершенно невероятным образом в тетради оказались записаны все тайны небывалых рисунков их жизни.

Весёлый клоун

Человек грузно выходит из метро, свинцовыми ногами обжигая хрустящую под ним плитку. Бетонная тяжесть покачивается в такт вздрагивающим ботинкам, несмело отворачивает лицо от очередного прохожего, но всё-таки подмечает некоторые детали: его спутанные волосы на опущенных плечах, пляшущие в глазах искры; в безумии он таращится на снующих мимо людей. Те смотрят в ответ, проходят мимо, оглядываются и опасаются обращаться к подозрительно вздрагивающему человеку. Борясь с непослушными конечностями, он выпрыгивает вперёд, пятится, поворачивается, упирается потным лбом в ребристую стену, мычит, сжимая зубы, воеет, вцепляясь пальцами в клоки волос. Золотящиеся на солнце пряди кривятся в блеске влажных ладоней. Несколько волосков, укрываясь от глаз, ветром разносятся по ближайшим переулкам и отдают своё беспокойство скитаниям.

Человек расстаётся с ними без сожалений; он даже не осознаёт потери – присаживается, впиваясь взглядом в плиточный шов; вскакивает, топает ногами, кусает губы и несётся вперёд с искаженным в животном испуге ртом.

Человек мечется из стороны в сторону, припадая к первой, второй, третьей скамейке, ложится на них, стучит по глухоте отсыревших деревяшек раскрытой ладонью, шепча под нос случайно сложенный набор слогов. Они с трудом складываются в слова, проскальзывающие по ушным раковинам прохожих и застревающие на руках их разноцветных футболок. Они принесут мольбы уличного чудака домой, часть выложат на тумбе в прихожей, часть – оставят в запыхавшихся туфлях, а небольшой отрезок, стекший по предплечьям, смоют тугим напором проточной воды.

Человек не замечает украденный у него голос; шаткая походка ведёт его задумчивыми зигзагами – он то и дело замирает, оценивая пространство диким и загнанным взглядом. Он готовится к уже проигранной борьбе, последним солдатом выходит из строя, вынеся себе смертный приговор. В его грудь устремляются тысячи остро заточенных кинжалов, рвут сердце, выдёргивая из него податливые мышечные нити.

Из глаз его брызжут слёзы, губы вытягиваются в трубочку, выдавая протяжное «у-у-у», – происходящее настолько похоже на искусное цирковое представление, что проходящие мимо дети весело указывают пальцем в сторону «смешного дяди» с пугающей гримасой. Он смешон себе, себе и страшен – шаги шумят, глаза слезятся, попавшие в порыв разозленного ветра. Ветер снуёт внутри разорванной груди, сквозит через образовавшееся отверстие и вдруг отзывается на робкий зов о помощи.

Он собирает остатки оборванного сердца, капельки сбившегося дыхания, слизывает пот со взмокшего лба, стучит по напряжённым ногам, принося им желанное расслабление, щекоткой проходит по глазам, возвращая зрению былую ясность. Солнце улыбочиво смотрит на открывшийся вид: ничто не напоминает о случившемся несколькими минутами ранее. По дорогам скользят машины, скрипят колёсами велосипеды и пищат светофоры. Жизнь возвращается в обмякшее тело, человек может наполнить грудь остывшим воздухом, не чувствуя стеснения и боли.

Грустный клоун, почувствовав облегчение, выдыхает – его лицо покрывается гипсовой маской. Под ней прячутся страх и радость, вырывающиеся наружу лишь редким шёпотом и движениями беспокойных пальцев. Клоун плавно вышагивает по плитке, опасливо озираясь; до скрипа сжимает в дрожащих руках бутылку воды, делает глоток и подходит к нужному зданию. Он удивляется сам себе, страх и бесстрашие встают в единый ряд, улыбаются, смотрят в замершее под маскарадным костюмом лицо, пытаясь пробудить в нём морщинащееся «нечто».

Грустный клоун остаётся неподвижным. Втягивает воздух с дрожью проходящем по телу свистом и долго выдыхает – лишь неровность этого выдоха бросает тень на клоунскую невозмутимость.

Дверь открывается: на пороге столичного офиса коллеги встречают вернувшегося с победой гордого весёлого клоуна.¹

¹ В рассказе описывается паническая атака – приступ сильной тревоги, сопровождаемый многовариантными телесными и психическими симптомами.

Смирение и гордость

В кабинете было недостаточно темно, чтобы зажечь свет, но и недостаточно светло, чтобы не чувствовать дискомфорта. Он замер между «можно» и «нельзя», в искусственности момента читалась пропитавшая его неопределённость.

Дети переглядывались с минуту, не решаясь заговорить. Кто-то закашлялся, кто-то прикусил любопытный язык, и лишь спустя время пристального наблюдения один из учеников сказал что-то провокационное, отпечатавшееся на лицах одноклассников межбровными складками и нахмуренным лбом. Навстречу его едкому высказыванию бросили множество не восполняющих образовавшуюся смысловую яму слов. Именно так раздражение и личные счёты вновь послужили толчком развития.

Среди насупившихся школьников ожидаемо началась литературная дискуссия. Их лица краснели в такт выстраивающимся в головах логическим цепочкам. Чем больше витков накручивалось на хрупкие стержни детского мышления, тем грубее становились их лица: казалось, что от напряжения сплетённые прядками ума мысли выпрыгнут из черепных коробок подобно игрушечным клоунам.

По решению учителя зажегся свет в люминесцентных лампах – темнота обостряла колкость накалившегося воздух. Хлопнули по столу учебники, открылись тетради, обнажающие прыгающие по строчкам буквы, а затем случилось «оно». То, что случалось каждый раз, когда в деревянные двери учебной комнаты случайно попадал дух классических трудов. Ещё в молчании, окутавшем стройные ряды парт, был замечен невесомый след шагающего по головам рьяного обсуждения. Нельзя было не начать спор: до того, как класс заполнился потоком входящих в его двери школьников, случившееся было запечатлено на стенах и мутной от меловых разводов доске. Пространство знало о предстоящем и оживлённо к нему готовилось.

Каждый оправданно мнил себя правым: девочки мысленно вцеплялись друг другу в волосы, мальчики пытались перекричать девочек. За ничего не значащий предмет разговора сражаться, жертвуя спокойствием и отведенными на изучение прозаических текстов часам, было тоскливо. Однако в этот раз даже учитель не позволил себе снисходительно закивать головой.

Что-то в классе переменялось. В обиженно-решительных лицах девочек и мальчиков впервые получалось разглядеть склоняющихся к земле стариков.

– Невозможно совмещать в себе гордость и смирение, – подытожил молчавший до этого длиннорукий ученик. – Каждый должен сделать выбор в пользу чего-то одного.

Удовлетворившись ответом, он сел на жёсткий стул, высоко задрав голову в ожидании достойной оценки своей мудрости. Мальчик почувствовал, как по макушке его расползается гордость. Мог ли кто-то из желторотиков поспорить с жизненным опытом?

«Никто более не додумался до такой простецкой ерунды», – подумал он, ощутив, как нектар превосходства течёт по лбу, поднимая брови в выражении нескрываемой надменности.

Мальчик смаковал свою победу, упивался её сладостью, чувствуя, как золотая корона водружается на его голову его же длинными руками.

Фыркнув, он красными чернилами отметил в дневнике четвёртое сентября: день, в который все всё поняли.

Мальчик искренне залюбовался надписью: такой красивой она получилась. Буквы ещё никогда не выводились настолько ровными и уверенными; никогда ранее они не хранили в себе столько ценности. Всё в его маленьком пространстве соответствовало величественному статусу – мысль перекрасить стены кабинета и заменить простенькие жалюзи на шторы из красного бархата сама собой промелькнула в голове родившегося несколько минут назад повелителя.

Именно из-за открывшегося вида и осязаемого всевластия мальчик опешил, получив в лоб крепкий щелчок влажного пальца одноклассника под оглушительный смех.

Он возмутился, но, заметив на себе пристальные грызущие взгляды озлобившейся толпы, отвернулся и начал нервно почёсывать лицо. На него вдруг нахлынул зудящий стыд. Внезапно полная зрителей площадь, подарившая ему власть, превратилась в пугающий своей обнажённостью эшафот. Лицо учителя потерялось где-то среди обжигающей наготы.

Мальчику показалось, что под кожей у него завелись безобразные клещи: они ползли ото лба, с которого всё ещё не сошла горделивая маска, к приоткрытому рту, в котором наверняка можно было увидеть отражение краха его недолговечной империи. Он ощутил, что вот-вот его лицо покроется серо-гнойными прыщами, содержимое которых выльется на страницы хохочущего над ним дневника. Что-то внутри мальчика надломилось: ему пришлось почувствовать себя деревянным дураком, щербатым поленом, высохшим клоком пережёванного сена.

Он готов был сдаться, прыгнуть в лапы короткоруких вчерашних друзей, смотревших на него с омерзением. Их блестящие языки и липкие от слизанного с него достоинства губы разбудили в нём плохо понятное колющее чувство, давно заснувшее в корнях волос. Оно лениво переползло на сморщенное в гримасе отчаяния лицо: забралось в уголки рта и упрямо потянуло их вверх, обнажив желтоватые зубы. От носа спустились скруглившиеся ямки, в которых не было видно ни недовольства, ни ненависти, ни гнездящийся в межбровной складке зависти.

В конце концов, и гордость, и смирение, соседствуют в морщинистом лице, стоящем у последней путевой развилки.

Мальчик не потерял улыбки – повторно обвёл дату в дневнике, позволяя гильотине лизнуть взмокшую шею.

Писатель

Шёл по городу, присел на сырую лавочку и с важным видом черкнул на смятой бумажке пару строк.

Буквы смотрели друг на друга свысока. Каждая норовила вытеснить соседку из обрамления тусклых клеток – они ютились в объятиях печати, загораживая солнце едва складывающимся словам.

Если бы под рукой у человека оказался телефон с затерявшимся в потёмках компьютерной памяти обрывком незаконченной повести, ситуация приобрела бы совсем иные оттенки.

В письме на бумаге было сокрыто совершенно другое искусство, писательством его назвать не поворачивался язык. Когда в руке оказывался тетрадный лист с потрёпанными краями, свежий блокнот, пахнувший издательской печатью, или случайно попавший в карман чек из ближайшего продуктового, перед «человеком в глупой шляпе» – как он сам себя называл – вставали тяготящие обязательства. Ему непременно казалось, что текст должен выглядеть выпущенным из-под пера мастера золотого века: буквам стоило класть круглые, квадратные и витиеватые головы на плечи своих соседей, запятым полагалось ставиться без промаха.

С телефоном не возникало никаких сложностей: пальцы молотили по блохоподобным кнопочкам, предложения и смыслы разделялись движениями внутреннего голоса. Никакого конфликта – только взаимопонимания разума цифрового и сердечного, родственника Райских садов и пепла Преисподней.

Ценнейший алмаз не нуждался в опиливании. Бриллиантовую огранку он оставлял балующимся своими писульками и ничего не смыслящим в языке подражателям.

Тяготить себя, плавая в глубоководье писательского ремесла, было никак нельзя; такие опыты над душевным устройством могли вылиться в ещё большее наваждение и породить на свет низкосортную литературу и дешёвые бульварные романы. Человек в глупой шляпе был создан для великого: он мнил себя не менее чем творцом истории, лицом молодой литературы – лицу было немногим за тридцать три.

Перед ним открывалось множество возможностей: на свете было столько всего, что можно описать! «Красивые облака на голубом небе, падающий снег и разноцветный закат», – Творец восхищался втягивающим его в свою глубину потоком, делясь едва сдерживаемым восхищением с бумагой. Ему хотелось отложить ручку и кричать прохожим просьбы осмотреться и преумножить его восторг горящими глазами, встречающими переменчивый нрав природы. Он взмахивал руками, захлёбываясь эмоциями, но оставался не замеченным мелькающей мимо толпой.

Творец едва заметно похрюкивал, стоило светлой голове впустить в себя новую нить вдохновения. В такие моменты человеку казалось, что извилины его целиком состоят из строк будущих романов. И од, конечно же, од Великому. Паутинка чувств, оплетшая его тонкую натуру, начинала цеплять на себя всё новые бусины капель росы.

В душном вагоне метро толпа топталась друг у друга под носом, наступала на ноги, выбирая общую жертву, обречённую выйти на свет в белёсых разводах, размазанных по чёрной замше. Человек смотрел на них свысока, придерживая рукой глупую шляпу. Никто из пассажиров не смел посягнуть на её выпученный глаз.

Разозлившись на толпу, сбившуюся в кисель с сомнительно приятным ароматом, писатель указал на открытые зубастые рты. Широкие челюсти и расплывшиеся в гневе смотрящие на него глаза оказались в одном абзаце с едва ползущим эскалатором, управлял которым, очевидно, самый злостный нарушитель общественного порядка, – человек обернулся и сильнее запахнул пахнущее бензином пальто – наверняка желавший задержать его прибытие домой.

Рвущееся из груди желание писать восходящую к беспробудному злу картину, рождать искусство в болезненных потугах и плестись к выходу, едва перебирая ногами, должно было вызывать в людях благоговение. Толпа должна была склониться к его ногам, вглядеться в переплетение петляющих мыслей и проникнуться их содержанием; испробовать сочетания света и тени, радости и скорби, добра и зла, чтобы отразить желание мира вылиться на бумагу последовательным буквенным воспоминанием. Люди, окружившие писательскую натуру, должны были стать призмой, гранёным стаканом, роняющим на стол рассеявшиеся лучи. Человек смотрел прямо перед собой, смотрела и его шляпа: в них ощущалось растущее презрение – вода черпалась голой ладонью, собравшей пыль с поручней вагона.

Проклятая железная дверь, едва не столкнувшись с покатым лбом, опустилась на абзац ниже: была ли она виновна в подлом умысле последнего к ней прикасавшегося?

Человек, блуждая пальцами по спёртому воздуху подземелья, почувствовал исходящий из неизвестности аромат свежести улиц. Он сочетал в себе свежесть, окутавшую воздух после дождя, тяжесть выхлопных газов, парфюма и новой резины, трущейся о шербатый асфальт. Запах манил его своей прозрачностью. В нём ощущалось родство с бегающими буквами: сейчас есть – завтра нет. В нём не было ни отсутствия, ни присутствия. «Прозрачность. В самое сердце».

Невидимость свободы, её касание, шёпотом ложащееся на одежду и кожу, стучало в висках и падало к вздрагивающим в предвкушении ногам.

Человек поднимался по лестнице, чувствовал тяжесть, сковавшую бёдра, и выступивший на лбу пот. Он почти отёр его напряжённой рукой – поднял острый локоть к плечу идущего неподалёку полноватого мужчины. Писатель вовремя спохватился: в пальцах он сжимал листок с едва поплывшими буквами. «Я мог упустить всё!» – подумал он, бесстрашно взбираясь на очерченную жёлтым ступень.

Улица встретила его гулом машин, перекликающимся с ещё звенящим в голове стуком вагонных колёс. Запах свободы оказался реальным: перед глазами открывался мир. Тот мир, который был описан ранее на скомканных в руке сантиметрах потёртой бумаги. Буквы ликовали, ликовал и Творец, нашедший свою правоту в изгибах плитки, бегущих по небу облаках и свисающей через плечо сумки спешащих прохожих.

Люди, сотворившие через него картину своего будущего, давно разошлись: среди обозначенных ими дел сегодняшний эпизод был лишь слякотным пятнышком на белом капоте.

Человек готов был отдать жизнь во благо Творения. Он был Творцом, способным излагать большее в меньшем. Его история началась: человек шагнул вперёд с гордо поднятой головой – ему вторили улицы и изредка мелькающие над головой птицы.

Человек погрузился в новое переживание, способное открыть удивительный горизонт. Оно представляло эфемерным, едва отличимым среди зрительного изобилия, оттенком приближающегося торжества.

Творец услышал резкий и грубый – «как можно допустить такое неуважение к благородно трудящемуся!» – сигнал несущегося на «зелёный» автомобиля, обнаружил себя в середине распластавшейся по дороге зебры и испуганно вскрикнул.

Синий «Форд» объехал его сутулую спину; бегущий навстречу мужчина напоследок толкнул в зудящий бок рукояткой зонта. Вокруг поднялась суeta, толпа плотно окольцевала человека – весь мир будто решил злобно над ним подшутить.

Серое небо слепило глаза, скрежет несущихся в тоннеле вагонов царапал слух. На лицо падал отражённый от листьев свет, кожу пропитывала скопившаяся в лужах мутнеющая вода.

Подземные ходы и узкие дороги ещё несколько минут враждебно косились на неподвижно лежащую шляпу.

Икона

Солнце сидело низко; что-то шептали птицы, но я не мог выделить ничего значимого из отзвуков их беседы. Ветер рвался в приоткрытые окна – свистел и шелестом пробегал по шторам. Стремительный поток замирал перед ведущей к веранде лестницей, нерешительно топтался у порога, хватаясь за позолоченные перила. Сушая безвкусица.

Я смотрел на мелькающих неподалёку бабочек. Четыре пары крыльев заходились в настолько быстром движении, что казались недвижимыми. Преследуя друг друга до ветвей смородинового куста, они плыли по нагревающемуся летнему воздуху. Разлитый над землёй кипяток застревал в полотнах крыльев, гладил нежность узоров и их отставленную теплоту.

Чашка угнетала своим присутствием, не взирая на пытающееся пробиться к свету умиротворение. Вкус кофе не хотелось ограничивать эмалированным кругом – не-форма не существовала без формы. Пальцы грубо схватили ручку посуды, сдавили её глянцевою беспомощностью и потрясли перед прищуренными глазами: солнце бликами отражалось от гладких стенок. Где-то на сетчатке отпечатывалось предвкушение начавшегося дня.

Я увидел свой вытянувшийся нос и отходящие от нахмуренного лба морщины. Паром над чашкой дышала сама смерть.

– Ты закончил или нет? – над ухом зажужжал голос, было неясно, как он сумел так быстро переместиться по сырым гниющим доскам, не оповестив скрипом меня и усевшихся на крыше пугливых птиц. Пол, покрытый зеленоватым мшистым ковром, скрипнул.

Дом, на который я потратил добрую часть жизни, по-видимому, собрался работать мне в ущерб.

Я повернулся к источнику звука, но от взгляда М. стало настолько не по себе, что в то же мгновение я уставился на беспокоящие чашку кофейные волны. В них отразилась нестойкость настоящего момента.

– Если я жив философствованиями, то ими же и умру, – я сделал глоток осевшей пенки и процедил пузырьки сквозь зубы.

– Ты жив своим идиотским языком, – ответила М. и, постояв рядом ещё несколько мгновений, потеряла ко мне всякий интерес. Её переменчивый нрав угнетал мою настойчивость и радовал моё безрассудство. В умеющем спрятаться или сказать несвязную ерунду языке скрывался весь секрет нашего сожительства. М., стремящаяся к определённости телом и умом, не терпела ответов невпопад.

Иногда мне становилось жаль её сил: она тратила слишком много времени на то, чтобы сочетать свою жизнь с планами и графиками, но её попытки настроить внутренние часы никогда не приводили к успеху. Я наблюдал за крушением выстраданной Вселенной женщины, которую, кажется, когда-то любил. Империя сыпалась мне под ноги, и я не знал, как реагировать на хрустящий под ногами песок.

Я вновь смог сосредоточиться на кофе; после состоявшегося разговора напиток стал горчить – за болтовнёй всегда упускаешь что-то важное. Ещё немного покрутив чашку в руках, я опустил её на стол, заставив коричневатые подтёки плавно спускаться по стенкам. Керамическое витилиго увлекало историей своей глубины. Где были зёрна до моего рождения?

На небе сгустились тучи – мне стало не по себе от их тяжести. На плечах чувствовалась влага и непосильный груз. Я поспешил укрыться в доме, так и не убрав за собой посуду: чашка осталась улыбаться на выцветшем столе.

Взъерошенная М., совсем не похожая на ту, что я видел несколькими минутами ранее, пробежала перед моим лицом – на мгновение мне показалось, что из-за проклятой чашки случилось нечто ужасное. Вокруг М. сконцентрировалась далёкая от понимания таким глупцом,

как я, аура предвкушения трагедии. Сбежав от туч, я не получил успокоения в родных стенах. Дом точно что-то против меня замышлял – хотел ли выдавить из дверей в лапы непогоды?

Любовь М. к суете в погоне за порядком я не разделял, но тёплое переживание к её плечам и бёдрам вынудило меня вновь втянуться в театральную сцену. Я похлопал себя по карманам и не подал вида, нащупав ключи. В подыгрывании чьему-то самолюбию меня привлекала одна деталь: в складывающейся ситуации никогда нельзя было найти победителя и проигравшего.

Я, как полагает ответственному домохозяину, стал метаться из стороны в сторону, гладить глазами полки и сминать пальцами заваливавшиеся по столам бумажки.

– Ты постоянно что-нибудь теряешь! – одёрнула мои поиски М. План приходил в действие, погружая меня в едва скрываемый экстаз. Хаос на голове М. беспомощно свернулся в подобие локонов. Постепенно она становилась всё более узнаваемой – сейчас стянет оставшийся бардак тугой резинкой, побежит вниз, чертыхаясь себе под нос, а затем остановится, пытаясь сохранить достоинство. Будет медленно шагать, но вскоре снова сорвётся на спешный темп.

Предпочитая не отвечать на выпад, будто он вовсе меня не задел, я потерял всякое желание продолжать представление для такого нервного зрителя. М., очевидно поняв мои намерения, фыркнула, в очередной раз попросив поторопиться. С её губ не сорвалось ни единого ругательства.

С веранды на меня всё ещё тарасилась полупустая чашка – я ощутил острое желание разбить её безупречно белое лицо о стену. Вместо этого, заслужив клеймо ребячливого барана, я послушно сел за руль и завёл машину. Двигатель взревел, будто мощностью превосходил первоклассные иномарки. Его показная напыщенность какое-то время отражала дух М..

Всю дорогу мы ехали молча. Мимо мелькали краски города, сверкающие окна высоток и редкие насаждения. Я не мог оценить их истинную красоту – внимание перетягивала серая и множество раз изъеденная глазами дорога. Местами облезла краска разделительной полосы, где-то появились ощутимые выбоины. С бесстрашной глупостью я насккивал на них колёсами и едва не прикусывал язык, опускаясь в мягкость касающегося спины сиденья.

М. переводила взгляд от зеркала к бегущему за окном пейзажу: деревья в цвету наверняка отражались в её широких зрачках. Она была совершенно не заинтересована в моей безответственности. В такие моменты мне особенно сильно хотелось влететь в фонарный столб.

Отрешённый взгляд М. пробуждал во мне чувства, когда-то заставившие укрыть мокнущую под дождём женщину под своим зонтом.

Я никогда не верил в истории знакомств, начинающиеся с «Шёл ливень, она мокла, а он достал из рукава пляжный зонт», но поселившаяся в моём доме дополнительная зубная щётка и пара тапочек убеждали в непредсказуемости дней. Бойся того, над чем насмехаешься, как своих желаний.

То, как М. рассмеялась над своей вымокшей рубашкой, было нельзя описать. Сухому мне хотелось подставить себя дождю, чтобы влиться в образовавшееся вокруг неё пространство чистоты и непринужденности. С её волос, бывших чуть более длинными, чем сейчас, стекали прозрачные капли, переливающиеся в свете вечерних фонарей. Мне казалось, что М. притягивала к себе падающую с неба воду: побиваемый дождём асфальт собирал меньше влаги, чем закурчавившаяся голова.

Никогда до этого я не утруждался ради женщин: их измотанные лица, растянутые ручки пакетов и высокие каблуки не вызвали во мне должного сочувствия. Несколько раз в детстве я помог матери вынести мусор, отнюдь не от доброго сердца. К своему стыду, я был тем мужчиной, о котором нелестно отзывались женщины прогрессивных и традиционных взглядов. Борющемся за равноправие я тоже казался человеком подлых взглядов.

Мне не хотелось превратиться в замутнённую лужу в глазах М., поэтому шаг за шагом я – до сих пор не верил в случившееся – построил с нуля наше хрупкое «больше, чем ничто». На мне лежало наше прошлое – под его весом я мог расправить плечи и идти с гордо поднятой головой.

Я успел проникнуться к ней глубокой симпатией и взрастить доверие: что должно было произойти, чтобы действительно привязавшаяся женщина отвернулась от ни в чем не провинившегося мужчины?

От парфюма М. веяло воспоминаниями.

Проехавший мимо грузовик вернул меня к разворачивающейся перед глазами реальности. Ничего примечательного в ней не было: всё та же серая дорога со стремительно приближающимся крутым поворотом – едущие впереди машины исчезали из вида, помигав желтизной притаившихся под фарами глаз.

Остаток пути я старался соблюдать внутреннюю тишину под стать молчанию М. Мне казалось, что я тревожу её умиротворение своими мыслями – М. возвышалась над ними глубиной полуприкрытых глаз.

Прибыв к месту назначения, я стал ждать, пока М. разберется с рабочими неурядицами. Я смотрел за её отдаляющейся спиной и пружинящими в такт шагам волосами – что-то упрямо выбивалось из причёски. Внезапно мне захотелось схватить их рукой, и, в пальцах перемежая пряди, вдохнуть аромат шампуня. Невольно подумалось о том, что настоящий характер М. выпирал из её души подобно непослушным прядям. Я же был тем случайно встретившимся коллегой, который не обращал на них никакого внимания.

Я начал разглядывать салон автомобиля, надеясь найти ранее упущенные из вида мелочи. Когда я посмотрел в окно в следующий раз, М. уже скрылась за дверью офиса.

В бардачке, завернутая в кусок ткани, лежала ещё не потерявшая внутреннее сияние иконка. Об её присутствии было известно лишь М. – она называла мою машину «пристанищем богохульства», но почему-то садилась в неё, каждый раз понемногу отрекаясь от веры. Близость со святым заставляла меня, давно потерявшего всякую религиозность, надеяться на воссоединение с божественным.

Если бы нам не посчастливилось попасть в аварию и навсегда стать частью исчерченного шинами асфальта, люди, найдя среди наших тел и обломков автомобиля подозрительный свёрток, наверняка бы заглянули внутрь. «Они вели благую жизнь!» – сказали бы они, роняя слёзы напротив искореженных трупов, – «Господь не оставит их», – верили бы собравшиеся около места происшествия зеваки. Предвкушение их скорби разливалось в душе приятным покалыванием. Подсознание подсказывало, что эта сцена стала бы замечательным завершением моего пути.

Развернув ткань, я вгляделся в лицо святого – что-то в нём выдавало едва пробивающуюся тревогу и пускало по коже беспокойство. Мне казалось, что ему доподлинно известны все мои прошлые согрешения: я представал перед ним копошащимся в куче сырой земли червём, не достойным сострадания, однако я не мог прочесть в окантованных позолотой глазах что-то помимо остановившегося под пером художника или прессом печатного станка сопереживания. Мне ли сейчас сочувствовал святой, обречённый незаслуженно проводить дни своей вечности в автомобильной пыли?

Муки совести я наспех заглушил утешением: в моём бардачке было значительно чище, чем в когда-то проданной машине М... Наверное, я в самом деле был благовоспитанным человеком.

Я не испытывал вины за похабное наблюдение: промышленный пейзаж выглядел из-за опущенного окна машины, хранящего на себе обведённые серебром высохшие капли вечернего дождя. Он представлял для меня куда меньшую ценность, чем вспотевшая в беспокойных руках деревянная табличка.

Я подумал о том, что было бы неплохо поинтересоваться у М. личностью попавшего ко мне по воле случая мученика. В том, что это был мученик, у меня не было никаких сомнений: его лицо говорило больше, чем ходившие из века в век Библейские истории.

По неизвестной причине М., старательно притворяющаяся набожной и богобоязненной, никогда не говорила о вере – тема неожиданно стала для нас особенно деликатной. Если во время полусонной беседы я вдруг чувствовал, что разговор заходит в ненужное русло, во мне просыпался пятнадцатилетний мальчишка, впервые познающий женщину: взгляд М. был более, чем снисходительным. Каждый раз я испытывал стыд за свою неосведомлённость, он пропитывал окружающее пространство сильнее дешёвого рыночного парфюма.

Я не хотел смущать её и себя – хотя обычно не стеснялся делать это самым бесстыдным образом – и не задавал лишних вопросов. При воспоминании об иконе, которую я без зазрения совести крутил в пальцах, между нами повисала мучительная тишина – почему-то думали о ней мы удивительно часто, как для вещицы, без дела болтающейся в бардачке.

Доставал я её не так часто, как мог бы, но делал это исключительно во благо доверившейся мне женщины, – стоило иконе появиться в моих руках, как лицо М. заливалось краской то ли от злости, то ли от неловкости, которая обычно повисает в компании двух мужчин и одной незащищенной женщины. Тогда уже я одаривал её подтрунивающей ухмылкой.

Удивительно, как похожи становились сердца верующего и атеиста в благоговении перед Божественным образом. Мы оба вели себя как признавшие свою сущность Божьи твари, как брат и сестра, робеющие перед Отцовской строгостью. Милость Творца сочилась сквозь всё наше существо.

Однако я почти не сомневался в том, что в моё отсутствие М. вынимала тряпку из бардачка и разглядывала спрятанное за ней лицо – и едва ли её губы складывались в молитве. Она делала это чаще, чем можно было представить – я устался на лик, начавший отсвечивать презрением к моему скудоумию, чтобы понять, *что* в нём могло вызвать у молодой женщины навязчивый интерес.

Чем дольше я смотрел в блики, отражённые в тонко пропечатанных глазах, тем больше убеждался в том, что в них было заложено что-то магнетическое, что-то, что заставляло и меня вглядываться в неловкость линий. Это что-то находилось далеко от Божественного, в недостижимости для моего ума.

Жаловалась ли сестра на своего нерадивого брата? Просила ли Отца вразумить его и наставить на истинный путь?

Из почти погрузившейся в забытие религиозной жизни я помнил, что Господь слышит каждое дитя, обращающееся к нему с молитвой, внимает каждому пущенному в небо слову и стремится исполнить просьбу с искусной точностью. Значило ли это, что М., попросившая для заблудшей души избавления от порочного бремени, обрекла меня на страшное испытание, посланное исцелить маловерие?

Я не знал, чего ждать от женщины, беседующей с иконой в моей машине. Но одно было известно точно: упрямство М. ничуть не уступало упрямству Бога, не оставляющего сбившегося с пути путника своего стада.

Вздыхнув, я по-новому завернул ткань, подогнув внутрь пушащийся угол и оставив свисать тонкую белую нить, на которую не обратил бы внимания человек, решивший совершить какое-нибудь грязное дело – именно таким я считал проникновение в пространство моих вещей. М. нарушала взращённую мной экологию, парфюмом убивала микроклимат машинного масла, обивки и бензина, и простить это было бы слишком безрассудно – уверен, что, спусти я ей с рук такую, по-женски выражаясь, мелочь, следующим шагом стало бы внедрение в мою обеденную тарелку её приборов.

В машине стало жарко. Автомобиль нагрелся в лучах стоящего во весь рост солнца. Я расстегнул пуговицу рубашки, заметив вылезшие из-под пальцев нити. Ласковый ветерок, про-

пахший выхлопами заведённых двигателей, едва попадал в приоткрытое окно – стекло незначительно скрывало падающий на мою кожу свет. Я был помечен Высшими силами и терпеливо ждал уготованной участи. Мне не было ни страшно, ни волнительно – на этом этапе внутри поселилось воспетое и прославленное смирение. Портрет в бардачке мог без мук совести мною гордиться.

О возвращении М. я узнал, в первую очередь, по громкому хлопку – на второй неделе просьб и объяснений я свыкся с поганой участью двери.

Слёзы мученика испарялись и оседали в лёгких. В воздухе повисала тяжесть. Беспокоила ли кого-нибудь судьба железки на похилевших со временем петлях? В неё было вложено так много труда бедных рабочих, дерущихся с судьбой за каждую копейку.

– Нельзя так по-свински относиться к людям! – затараторила М. Я сделал вид, что искренне ей сочувствую: кивал после каждой паузы, боясь, что она решит подловить меня и скажет очевидную глупость. Вероятность прослыть в её глазах дураком была неприятной, но большую часть моих мыслей занимала впервые за долгое время гулко скрипнувшая дверь. Неужели мученик выбрал её моим испытанием и с каждым днём приближал к угасанию, исполняя мольбу М.? Железный механизм вдохнул спущенное с небес откровение и начал саморазрушение, представив моим глазам его пугающую красоту.

М. говорила что-то ещё, но я не разбирал слов. В один момент её речь превратилась в невнятный лепет обиженного младенца. Ни единая жалоба сейчас не могла сравниться с горечью плача стонущей железяки.

Я завёл машину и тронулся, убедившись, что М. не забыла пристегнуться. Меня вдруг начало преследовать беспокойство за её жизнь. Если беда, случившаяся с дверью, имела отношение к закрытому в бардачке свёртку, то и М., как ближайшего посредника между мной и Богом, могла ожидать серьёзная опасность.

Я продолжал удерживать руль, но заметил проступившую на нём влагу. Напряженный взгляд М. преследовал меня: казалось, во всех зеркалах я мог видеть её глаза, высматривающие что-то во мне или вне меня. Я пытался прислушаться к её едва слышному дыханию сквозь шум мелькающих мимо машин. Казалось, безжизненное тело обмякло в кресле, навсегда пропитав его запахом смерти.

Скрип двери никак не хотел выходить из головы: сейчас я не был уверен: он мне мерещился или кости М. начали расходиться под тяжестью давящего ей на грудь ремня безопасности. Кадык дрогнул, я глубоко вдохнул, пытаюсь унять дрожание пальцев: поток движения уносил меня прочь от пробуждающегося проклятия.

Я не различал дорогу, ведущую нас домой: следуя прежнему пути, машина интуитивно обходила ямы, кочки и рассыпанный щебень. В багажнике тряхнуло металлическую канистру. Плакали улицы, плакало моё внутреннее равновесие.

Я не был готов признать правоту М., которая предупреждала меня об опасности богохульства. Сейчас моя уверенность в неминуемом наказании разрасталась с каждой минутой, вынуждая одежду пухнуть на взмокшей груди. Я не был готов простить безрассудность её просьб. Бедняжка М. взяла на себя вину за мою беспечность – я исчерпал терпение мученика, и даже вера теперь была не в силах повернуть время вспять.

Последним шагом милосердный Господь избирает мирную смерть.

Кое-как мы доползли до дома. Канистра подпрыгивала на неровностях дорог, моё сердце – на кочках обострившихся мыслей. Я понимал всю их абсурдность, но чувствовал своё с ними родство. В них было больше меня, чем в арендованном у планеты кожаном мешке. Радио звучало ангельскими голосами, сигналы идущих на обгон машин – их трубами, приглашающими нас приблизиться к Райским вратам, чтобы пасть в самый низ адского пекла.

Я полз, а М. плелась рядом, спокойная и будто дремлющая в аккомпанементе шумящего двигателя и цокающих «поворотников». Казалось, она не испытывала никакой тревоги,

и именно эта женская невозмутимость давала мне надежду на отсрочку кары небесной. Разве могла она не преисполниться ликованием, предчувствуя скорое исполнение загаданного желания? – ребячества в ней было больше, чем в любом из знакомых мне людей.

Машина остановилась; я выдохнул и ладонью вытер со лба пот. Влага осела на её рельефе прерывистым слоем. Сократилась ли линия жизни? Я взгляделся в неё, пытаюсь отыскать подзрительные рубцы. Длинная, заходящая за основание большого пальца, полоска улыбалась мне ровной глубиной.

М. поморщилась – она была чересчур брезгливой для человека, жившего в одном доме с моей безответственностью и нелюбовью к порядку. С часу на час всё должно было измениться: я не предполагал, откуда ждать исполнения оставленного М. пророчества; машина была цела, а дом – чист и слишком мил духом, чтобы так легко забрать в темноту две запутавшиеся души. Пусть жизнь и скрывала от меня неминуемое – я ждал и был почти готов к искуплению.

Дверь – слишком мягкая кара для человека, согрешившего столько раз. Здесь, в домашней тишине, лишь изредка прерываемой соседскими голосами, щебетаньем птиц или грохотом гроз, ей ничего не угрожало. Выдох облегчения обернулся для меня мучительным ожиданием.

Я потянулся к бардачку, стараясь сделать это как можно тише, но замер в нескольких сантиметрах от мозолившего глаза места. Я чувствовал сопротивление не желающей сдвигаться с места таблички.

М. продолжала ничего не замечать – пугало меня это или радовало? Она была сосредоточена на ремне, с трудом поддающемся её нервным пальцам. Мне ничего не мешало осуществить задуманное, однако что-то в озабоченности М. начинало настораживать. Никогда прежде я не видел, чтобы она с таким рвением прикасалась к вещам – даже шнурки завязывала с излишней плавностью, из-за чего узел часто свисал, пылясь и болтаясь под ногами. В её утренних сборах агрессивная спешка неожиданно преобразилась в ласкающую взгляд суету. Тем тяжелее было оставаться в напряжённой и взвинченной реальности.

В семье М. не было принято проявлять резкость – несколько раз я вскользь слушал её разговоры с матерью: голос этой пожилой женщины отдавал сипящей нежностью, тянущей за собой шлейф увядания. Я не был большим любителем вмешиваться в частную жизнь женщин, по случайности ставшими частью моей частной жизни, однако выдававшаяся возможность почувствовать себя почти родственником семьи со столь чуждыми мне взглядами, прельщала больше, чем коротание вечера под осточертевшее мелькание телевизора.

Я почти в деталях запомнил события того вечера: моей дурной привычкой было привязываться к бессмыслице и упускать из виду действительно важные вещи. Мать М., кажется, её звали Людмилой или Любовью, полушёпотом рассказывала истории из жизни заграничных людей, будто сама имела к ним непосредственное отношение. Она производила впечатление человека интеллигентного, но несколько напыщенного – несмотря на искренность, с которой ею обсуждался дурной вкус коренных парижанок, что-то в её речи меня отталкивало. Каждая строчка отдавала душком неуместной похоти, которая иногда проскальзывала в опасной близости от моей шеи. При том в речи того вечера не было ни грамма истинного вожделения. Это и заставляло меня удивляться.

Я не мог понять, как моя вспыльчивая М. могла уживаться под крышей с очеловеченной тишиной, однако, когда вслед за матерью заговорила и сама М., всем вдруг стало не по себе. Холод мурашек, пробежавший по моей спине тем вечером, потом часто являлся ко мне во сне, представляя усеянным иглами распятием.

После этого любая грубость со стороны М. стала казаться мне благородной жемчужиной – молодая женщина, протестующая против прививаемой ей детскости не могла не касаться сердца своим очарованием. Мне не давала покоя лишь одна мысль, которая раз за разом бередила душу.

Я столько времени жил обманом – такая порядочная женщина, как М., точно не могла врать собственной матери. Она вела двойную жизнь, но я не понимал, в какой из них было уготовано место для меня?

Я мог лишь предполагать, что за вспыхивающим походной спичкой нравом М. прятала какой-то потаённый уголок нежности, предназначенный для меня. Но, если и умиротворение её голоса было тщательно выстроенной игрой, где она скрывала наше будущее? В каком выпотрошенном перед стиркой кармане его следовало искать?

М., раскорячившись, дёргала ремень, почти рыча от натуги, но я не решался вмешиваться в связь, возникшую между ней и машинным салоном. Что-то напоминало о детстве: вот-вот меня должны были позвать к ужину. Клацанье кнопки, намертво прижавшей ремень, билось об обивку сидений – мне казалось, что оно защищает М. от протянувшихся к ней рук мученика. Стоило её животу оказаться в ограниченной свободе джинсов, а груди едва заметно подпрыгнуть в расслабленности, как внутренности, прячущиеся под упругостью кожи и исписанной нечитаемыми фразами тканью футболки, непременно оказались бы на полу. До нас, тающих во всё более нагреваемом салоне автомобиля, снизошло бы Божественное озарение: М., принеся себя в жертву, вознеслась бы ко вратам желанного Рая, а я остался бы коротать земную жизнь в стремлении воссоединиться с её неутраченной верностью. Оставшийся всегда страдает сильнее, окружённый сожалением и чувством вины. Мне бессовестно собирались мстить.

Мне не хотелось терять М... Я боялся, что она покинет меня, но не мог ничего предпринять. Я ненавидел её и любил всей душой. Она отвратительно поступила со мной. Я был ей за это благодарен.

Моя готовность принять внутрь себя Божью любовь не имела ничего общего с искренностью праведников, заслуживающих прощение. Я мог притвориться набожным и покаяться в согрешениях, но боялся навлечь на свою неловкость ещё больше гнева Небес. Как быотреагировал Бог на грязную ложь не менее грязного человека? Может ли чистый заметить и обличить грязного?

Я выдохнул. Сказанного не вернуть. Я не мог остановить время и возвратиться в тот день, когда за моей спиной М., окунутая в пучину отчаяния, совершила непоправимое. Сейчас мне, как мужчине, представлялось возможным лишь исправить текущее положение и положить конец всемилостивому преследованию.

Я покрутил головой, пытаюсь отогнать скверные мысли и надеюсь остаться незамеченным. Даже привыкшая к моим чудачествам М. – пусть и не смирившаяся с ними – не смогла бы списать это на секундное помутнение.

Я должен был действовать осторожнее.

Долго рассуждая о мужестве и нужде, я никак не мог собраться и открыть бардачок. Меня удерживала усиливающаяся тревога: кожей я чувствовал открывшиеся глаза, направленные прямо в мой лоб. Между мной и иконой повисла мучительная неопределённость.

Внезапно М. громко вдохнула и схватила за палец. Момент! Я рассчитывал лишь на свою ловкость: преодолев сомнения, почувствовал прилившую к рукам кровь, быстро достал из бардачка свёрток и припрятал его в карман. Ждать было нельзя. Высшие силы, почувствовав сопротивление, наверняка решат действовать незамедлительно. У меня оставалось совсем мало времени. Пару часов? Пару минут? Когда и откуда ждать беды? Я глубоко вдохнул. Наступала пора сражаться. Я был готов стоять до последнего.

Мой живот остро ощутил подкрашивающую опасность: мышцы скрутило, и спазм побежал к ногам, отзываясь в теле дрожью. Крупные мурашки отличались от тех, что поселились на мне во время почти семейного ужина. Сейчас мечущийся по телу холодок не сулил ничего доброго, в его заточении скучала настоящая трагедия. Я смотрел ей в лицо, прогибаясь в бессилии несмелости. Мне некуда было скрыться. От этой мысли я погружался в экстаз.

Несмотря на боль, я был доволен: всё произошло не зря – в иконе действительно скрывался источник страданий. Когда и кто её проклял? Ещё несколько часов назад я смотрел на неё с благоговением неверующего, крутил в руках, чувствуя едва сохранившийся запах дерева, а сейчас приходил ужас, ощущая под боком запертую твёрдость.

Я выскочил из машины и помчался в сторону дома. В висках запульсировала кровь, сердце зашлось в животном ритме, над губой выступила солёная горечь испарины. Только бы М. провозилась в машине ещё несколько минут, – должно быть, в её глазах я прослыл бесовским подлецом. Мне приходилось жертвовать уважением со стороны М. и её минутной радостью ради счастливого будущего. Я не мог позволить кому-либо вторгнуться в мой план. Любопытство М. не сумело бы просто забыть о когда-то существовавшей деревяшке, а вера точно вынудила бы её встать у меня на пути: она бы непременно отыскала полюбившуюся икону и продолжила впитывать её волнения.

Я упустил бы последний шанс исправить ошибки прошлого. Меня бы поглотила слепота чужих предрассудков.

Удастся ли мне пронести лопату мимо замечающих любые перемены глаз М.? Я не мог сжечь икону, позволив её силе рассеяться в воздухе – всё, к чему прикасался застывший взгляд мученика, хранило на себе его след. Если бы в моих лёгких осело прикосновение его внимательности, они тотчас бы обратились комьями осевшего на крови пепла. Моё неверие, моя беспечность подверглись бы внутреннему уничтожению, растворяющему сердцевину кипящей внутри тела жизни – огню осталось бы лишь избавить оболочку от бездушного быта.

Стараясь действовать с осторожностью, я не поворачивался в сторону машины – боялся столкнуться с осуждающим взглядом М. Со спины она будто не могла прочесть моих намерений: я всё ещё оставался для неё бессовестным безумцем, отвернувшимся от чужой беды.

Под ребром запекло, и я, скрывшись из поля зрения М., достал из кармана свёрток. На мгновение мне почудилось, что из-под ткани выглядят искаженные ужасом глаза – были ли раскрыты мои намерения? Теперь мученику всё точно стало ясно. Я был в безнадёжном положении – могла ли его исправить проржавевшая лопата? Только бы успеть.

Несмотря на своё малодушие, я всё ещё оставался человеком. Не в борьбе ли за жизнь я, как представитель людского рода, провёл годы детства и юности? Я выдержал иссушение плоти, текущий по сосудам кипятком и съедающее ноги пламя, мог ли отступить сейчас, стоя лицом к лицу с – пусть и наделённым небывалым могуществом – куском дерева?

Я оставил М. наедине со *своей* обозлённой машиной, позволил ей без чьей-либо помощи обламывать ногти о непослушную кнопку и не имел морального права сдаться, не доведя дело до конца.

Даже если мои методы окажутся пустым сотрясанием воздуха и раскопанной земли, я должен уйти с достоинством, не признав поражения, не позволив решившим мою судьбу глазам взглянуть на меня с презрением победителя. Испустить дух, не позволив пожирателям схватиться за него. Испустить дух, а не сгинуть.

С решительностью, ощутив улыбку налившихся кровью глаз, я положил поцелованную смертью деревяшку около веранды и ненадолго отвлёкся на утреннюю чашку – сейчас её присутствие не казалось мне таким же тягостным, но глянцевая поверхность по-прежнему тревожила сердце. В моменте я не осознавал, что она положила начало моему уничтожению: сколько драгоценного времени я провёл в созерцании её скруглившихся боков? Какой же меткой была моя интуиция! С самого утра я видел одного из своих убийц, я познакомился с ним задолго до встречи с настоящим лицом иконы, вокруг которой так долго и навязчиво крутилось моё беспокойство.

Я ликовал, я праздновал свою победу, через поражение пронесённую на трясущихся руках. Я знал, откуда ждать очередного удара, и готов был обороняться. Может ли чашка, булькающая горьким осевшим кофе, и деревянная табличка, пусть и почитаемая в миру, при-

чинить мне вред? В их ли руках находилась хрупкость моей жизни и мимолётность дней? Я помнил о неизбежности своей участи, но теперь точно знал, что после того, как осядет тело, как оно сползёт по укоренившейся оси, в земле, на том месте, где останется мой последний выдох, останется титановый стержень.

Союз дерева и фарфора, хотя и казался мне слабым недоразумением, посмешищем, пятнышком на вычищенных белых зубах, безупречно сочетался с совершенством. Я чувствовал подвох, но переполнившее меня удовольствие рассеивало возникающие затемнения.

Я ощущал своё возрождение, хватая черенок лопаты за покатуую голову. Воздух содрогнулся – моя ли настала пора бояться? Совсем скоро свершится возмездие, и предавшейся богохульству душе не придётся нести расплату за страшный грех.

М. вышла из машины, хлопнув злосчастной дверцей, положившей начало череде происшествий – сейчас они медленными движениями сливались в обвал всего, что когда-то было мне дорого. В этот момент, я, издалека увидев грубость походки М., не мог решить, действительно ли затеял всё ради её спасения?

Беда не красась: уверенно шагала нам навстречу, сметая на своём пути свежевывсаженные кусты и головки пробивающихся из земли тюльпанов. Горе направлялось приближалось ко мне ногами М. Выстраданное мной спасение покачивалось под порывами поднявшегося ветра. Я чувствовал, как из пальцев выскальзывают песчинки с трудом собранной в единое целое уверенности.

Когда я решил действовать быстрее, время сыграло против меня: из-за угла показались вычищенные и потрёпанные годами проливных дождей кроссовки М.: на левой отпечаталась белизна полуразрушенного бордюра.

Я застыл перед М. с лопатой в руках и лежащим рядом свёртком. Она взглянула на меня с нескрываемым презрением: оно читалось в её властной позе, в потёртости её джинсов и небрежно упавших на плечо волосах. Каждая клетка М. была пропитана глубоким отвращением к человеку, стоявшему напротив.

Был это я или смеющийся из тряпки мученик?

М. глубоко вздохнула, решившись что-то сказать. С движениями её челюсти ко мне пробиралось входящее в глубину плоти осознание.

Наверняка она уже давно разгадала мой план и молчала, чтобы подловить нужный момент и высмеять мою беспомощность перед лицом иконы. В этом ли была причина её навязчивости в адрес того, кого она называла святым? Они оба вступили в заговор против всего моего существа. Каждый раз, когда меня не было рядом, она прокручивала в голове свои козни и переговаривалась с тем, кого я ошибочно принял за мученика, за *моей* спиной в салоне *моей* же машины. Её забавлял мой испуг, моя одержимость спасением. Этой женщине было чуждо сочувствие и всё то, что роднило её с человеческим существом. Я был предан. Был жестоко растоптан тем, от кого никогда не ждал обмана. Моё тело уже горело, душа – начинала рассыпаться остывающим прахом. Я удерживал её вспотевшими пальцами, цеплялся за крупинки, набивающиеся под ногти, но вгрызался в уходящую жизнь. Это М. утром поставила на стол раздражающую чашку. Всё было решено до того, как я успел это понять.

Я не мог позволить себе уйти без своего сердца. Не мог позволить М. шептать ему сладкие речи и очаровывать мокрым от предвкушения трапезы языком. Она решила всерьёз распорядиться моим будущим и вплести в него свои тёмные планы.

Неужели М. думала, что меня будет так легко провести? Она жила со мной все эти годы, принимая меня за беспробудного дурака. Я доверял своё будущее рукам, готовым вот-вот свернуть мне шею. Я планировал совместную жизнь с человеком, выжидающим момент, чтобы выдавить из меня дух. М. хотела избавиться от меня, я читал в её глуповатом лице ярость, перемежающуюся с обидой и непониманием. Кривой рот, окруженный влажными губами, задрожал – я вдруг потерял контроль и рассмеялся. На моих глазах рушилась целая империя, преступ-

ный альянс рассыпался под моими ногами и хрустел рассыпающимися в скрежете зубами. Мой смех, смех торжества справедливости, смех порванных уз, проткнул располосованный ремнём живот М... Сквозь одежду я видел на нём метку дьявола.

М. никогда не обращалась за помощью к Господу, её набожность была баннным халатом сатаны. Сейчас он, перепачканный фантомными следами крови, содрогался, сползая с обгоревших на солнце плеч.

Сохранившиеся на моих губах следы поцелуев М. пропитались горечью: я целовал владыку тьмы – его ненависть, облаченную в притворную нежность.

Я смотрел на открытый рот М. и видел в нём несвойственное открытым ртам притяжение. Должно быть, я, опирающийся на лопату и хохочущий в полную мощь отравленных табаком связок, выглядел чем-то большим, чем обезумевшим чудаком. Видела ли М. булькающую во мне власть? Готова ли была захлебнуться её приторным вкусом?

За спиной что-то грохнуло. Мы обернулись, застав прыгнувший на пол обломок чашки и бегущее перед ним кофейное полотно, пропахшее осевшей по керамическим стенкам горечью. Ловко прошмыгнув под перилами, пузатый чёрно-белый кот, оставивший за собой мокрые следы, скрылся в направлении соседних домов.

Ненавистная чашка лежала передо мной, мёртвая и изуродованная. Проклятье дышало мне в спину: оно подобралось слишком близко. Прыжком преодолело дистанцию, имевшуюся между нами в то время, когда я держал в руках целостность холодной керамической ручки. Мне некуда было бежать. Лопата перестала казаться оружием – я смотрел на неё через смиренное отчаяние.

Каждая минута промедления приближала меня к гибели. Я рисковал растечься по земле подобно кофейному пятну.

– Я же просила тебя убрать за собой!

М. хотела, чтобы на месте чашки был я. Она больше не была моим союзником. Она *никогда* не была на моей стороне, окончательно и бесповоротно признав власть творящего хаос свёртка. Их тандем нёс потери. На моих глазах он лишился своего совершенства. Кто-то лишается – кто-то приобретает. Я почувствовал прилившую к телу силу. Проклятие было разрушено. Чашка взяла его на себя, разрушив страшные планы своих союзников.

На моей стороне был только кот. Его следы начали медленно высыхать в потоках горячего воздуха.

Бог отвернулся, прикрыв глаза, – я посмотрел на небо, оседающее на ресницах белеющей пеленой. Облако кивнуло, в следующую секунду рассеявшись в бесформенные водяные капли.

Я сделал несколько шагов в сторону М. и занёс лопату над головой.

Мне не о чем было жалеть.

Глазами незрячего

Мягкость подушки пленила разморенное сном тело. С каждым шагом солнца конечности всё больше тяжелели: могло показаться, что пальцы налились предвкушением наступающего дня и раздулись ожиданиями, повисшими на его позвоночнике. Хрупкость недель, месяцев и годов убеждала в несостоятельности планов ближайших часов.

Голоса птиц – свидетели пробуждающегося рассвета – не позволяли отложить встречу нового дня. Протянув руки пустоте, Д. заставил себя сесть в невесомости смявшегося одеяла. Плечи заохлоло пробежавшимся по комнате сквозняком, Д. поморщился, нащупывая пальцами ног пушистые тапки. Просевший мех скрипнул, оказавшись прижатым влажными ступнями.

От потягиваний кольнуло в бок, от голода – затянуло в желудке.

Лёгкость в голове поприветствовала выпрямившееся тело, хрустнувшая спина капризом отозвалась на пробный шаг. Организм, не пытаясь ничего скрыть, разваливался на части, не имеющие ничего общего с их первородными качествами.

Скользнув пальцами по шершавым стенам, Д. поднялся на порог пахнущей сыростью ванной. В компактности стиральной машины и пластикового таза с грязной одеждой притаилась зубная щётка и мыло.

В кране зашипела вода и, разбившись о поверхность раковины, оставила на руках Д. надутые капли. Лицо освежило прохладой, брови и ресницы дёрнулись под пальцами, склонившись к влажным щекам. Шею защекотало спустившимися на плечи волосами, колючая паутина всегда приносила ворох ненужных проблем. Избавиться от «бесноватой мочалки», как называл их Д., не хватало времени: то накатившая сонливость, то шум ночного города без стеснения срывали планы. Подсознательно всё давно было решено: волосам навсегда суждено покрывать пульсирующую голову.

Доверившись прохладе воды, Д. как никогда ясно ощутил, как тёплая кровь обтекает голову – ему казалось, что метры пронизывающих кивающего болванчика сосудов выступили на поверхность, бесстыдно обнажив наготу. Наверняка где-то рядом бегал паук и наблюдал за глупостью обезумевшего двуногого.

Рассыпающаяся в руке мочалка, невнятно пахнущее мыло, стесняющая кожу одежда, цепляющаяся за волосы, преобразили едва переставляющее ноги существо в социальный элемент, готовый пошевелить шестерёнками во благо общества.

Д. толкнул холодную подъездную дверь и почувствовал, как нос обдало запахом мороза и чужого парфюма: коротко кивнув соседу в молчаливом приветствии, он услышал шорох соприкоснувшихся пуховиков. «Кому понадобилось выйти из дома в такую рань?» – подумал Д., спустившись по скользкой лестнице. Послевкусие случайной встречи грозило испортить едва начавшийся день. Он катал его на языке и притирал к щекам, надеясь выпустить наружу налипший комок.

Поймав лицом несколько особо крупных снежинок, Д. подумал, что за ночь, должно быть, выпало приличное количество снега – расчищенные дорожки молчали, а полосатые бордюры скрывали истинные намерения природы. Щёки щипало порывами ветра, а пересохшие губы трескались, растягиваясь в глупой улыбке. Как бы он сейчас выглядел со стороны? Казалось, что каждый прохожий мог прочитать крутящиеся в растрёпанной голове мысли – в ответ своим предостережениям Д. гнал их прочь, взмахивая рукой. Вслушиваясь в незаметно приблизившиеся шаги, он ощущал подбирающуюся тревогу: чудовище дрожью ползло по пружинящим ногам и норовило забраться под куртку. Стоило Д. отпустить над собой контроль, как мысли, ощутив с его стороны послабление, вернули утерянную власть – дышащий ему в спину человек наверняка посчитал его сумасшедшим или вовсе оскорбился, сочтя несправедливым

подобные подозрения. Д. был бессовестно обнажён и открыт взглядам незнакомцев. Он лежал на плоской тарелке, катался по ней выпяченным животом, впуская в глубокий пупок оставшиеся после чужой трапезы крошки. Ему оставалось лишь под хохот и болтовню уклоняться от тычущих в него вилок.

Д. вытянул из кармана небрежно смятую шапку и надел её на голову, прижал к коже непослушно топорщащиеся волосы, обезопасив мысли от постороннего вмешательства. Вилки и скрученные пальцы отступили. Он оказался в недостижимости от их покушений. Человек за спиной, будто утратив всякий интерес к более не доступному, ускорил шаг – его топот отдался и в скором времени перестал касаться обострённого слуха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.